AMAROEY



РЕАНИМАЦИЯ ДЛЯ БОГАТЫХ, ЧАСТЬ 1.СЧЕТ ОШИБОК. НОМЕР 20.

18+

Amara Vey

Реанимация для богатых. Часть 1.счет ошибок. Номер 20.

«Автор»
2026

Vey A.

Реанимация для богатых. Часть 1.счет ошибок. Номер 20. / A. Vey — «Автор», 2026

Двое ошиблись одновременно — и каждый уверен, что ошибся другой. Вы видели ровно то, что видели они. Значит, вы тоже уверены — не в том.История одной девушки, что за одну ночь потеряла все, даже свое имя. Пока властные милиаредры сражаются между собой и не теряют ровным счётом ничего, а расплатиться за это лишь она, справедливо ли это? И есть ли во всем случившиеся её вина? А может ей просто не повезло, оказаться не в том месте, не в то время.

© Vey A., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Дверь без замка 6
Глава вторая. Правила игры 17
Глава третья. Яхта. Игра в молчание 27
Конец ознакомительного фрагмента. 31

Amara Vey
Реанимация для богатых.
Часть 1.счет ошибок. Номер 20.

СОФИЯ РЕЙН
НОМЕР ДВАДЦАТЬ
Роман · 18+ · Книга 1

Аннотация

София Рейн — медсестра реанимации частной сети клиник «Меридиан». Её правила просты: не задавать вопросов, не включать свет и не произносить вслух имён. Однажды в грозу она нарушает все три — за одну ночь с незнакомцем в двенадцатом номере.

Утром её имя в деле заменено чужой фамилией, доступ — отозван, а единственный человек, который знает, кто она, ждёт её у лифта закрытого крыла. Леон Ашфорд не звонит первым — он приезжает сам. С предложением, от которого нельзя отказаться по-настоящему: фиктивная помолвка. Ей — имя и защита. Ему — ответ на вопрос, который он не задаёт.

Но в игре, где ставки — репутации и жизни, у каждой ошибки есть цена, а у каждого молчания — владелец. Медсестра умеет считать. Она ведёт счёт ошибок. До двадцати. Включительно.

Роман для взрослых читателей: откровенные сцены, психологическая драма, интрига. Первая книга истории.

Глава первая. Дверь без замка

Есть три вещи, которые я сделала неправильно в ту ночь: не задала ни одного вопроса, не включила свет и не произнесла вслух имя.

Если бы я исправила хотя бы одну из этих трёх ошибок, моя жизнь не рассыпалась бы на две половины — «до» и «после».

Но обо всём по порядку. Хотя порядка в этой истории нет вообще. Есть только шторм, погасший свет и одна ошибка, которую двое незнакомых людей совершили одновременно — и оба уверены, что это сделал другой.

* * *

За двенадцать часов до этого я стояла на террасе виллы «Меридиан» и смотрела, как море собирает на себя шторм.

Позже я узнаю: у этой ночи будет счёт. До двадцати. Включительно.

Море перед штормом меняет цвет — становится тяжёлым, серо-зелёным, как старый хирургический инструмент. То же происходит с воздухом: влажность поднимается, давление падает, и люди начинают раздражаться без причины. Я замечала это сотню раз в приёмных отделениях: перед грозой привозят чаще. Сердца чувствуют грозу раньше метеостанций.

— Ты опять куда-то смотрит, — сказала Нина, и я не стала поправлять её на «смотришь». Я давно поняла: Нина не ошибается. Это я живу с ошибкой, которую пока не вижу.

Нина стояла рядом с двумя бокалами минеральной воды и смотрела на меня с выражением, которое я хорошо знала. Так смотрят на человека, который один в комнате с чужим тигром и не отходит к выходу.

— Ты будешь улыбаться весь вечер? — спросила она. — Ты медсестра, а не гробовщица.

— Я на дежурстве.

— Ты на дежурстве каждую смену. А на этом конгрессе тебя никто не просил дежурить, тебя попросили присутствовать. Чувствуешь разницу? «Присутствовать» — это когда можно выпить шампанского и потанцевать.

— С тобой в зале и то и то опасно. Кого-нибудь потанцуют до смерти.

Нина усмехнулась было, но выдержала паузу, как настоящий юрист:

— Нина.

— Да-да. Устав. Никаких связей с клиентами. Ты повторяешь это как «отче наш».

— Это не молитва. Это инструкция, которая кормит меня с октября.

Нина закатила глаза, но спорить не стала. Она единственная здесь, кто знает про меня больше, чем положено, — и всё равно меньше, чем думаю я.

Я не любила конгрессы: раз в год сеть «Меридиан» закрывала двери для мира и собирала владельцев клиник, инвесторов и пару десятков имён, привыкших, что их не произносят вслух. Персоналу положено быть незаметным, вежливым и невидимым — с этим у меня проблем не было. Незаметность — если вдуматься, профессия: в реанимации главное — не попадаться на глаза, когда всё под контролем, и не терять контроля, когда на тебя смотрят.

— Ладно, — сказала Нина, глядя в зал. — Только предупреждаю: сегодня тут будет весело. Альты привезли свою невесту-чемпионку.

— Кого?

— Камиллу. Ту самую. Медиаимперия, обложка, бриллиант в ухе размером с мою ипотеку. А с ней — её жених. Дэмиан Кросс. Он с утра снял для неё весь западный флигель. Весь. Для одного человека снял целый флигель, Рейн. Там лифты приватные.

— Здорово, — сказала я ровно. — Надеюсь, они не заболеют.

— Ты когда-нибудь будешь живым человеком, Рейн?

— Я живая. Я просто не вижу смысла быть живой для того, кто платит мне по счёту.

Нина усмехнулась и ушла разливать воду, а я осталась смотреть на шторм. Море делало ровно то, что я делала последние два года: набирало силу, никому об этом не сообщая.

* * *

Ужин прошёл так, как проходят все ужины с богатыми людьми: красиво и пусто.

Я стояла у дальней стены в форме — бейдж, накрахмаленная ткань, руки за спиной — и читала зал как схему: столы, парадные пары, переговоры в миниатюре. За главным столом сидели Альты. Адибек Альт рассказывал историю, которую рассказывал на всех ужинах подряд, и смеялся первым — так делают люди, у которых смех — часть дресс-кода.

Рядом с ним сидела Камилла Альт. Длинная, выверенная, с голосом отполированного камня: когда она улыбалась, улыбка начиналась с правого угла губ и останавливалась на полпути — вежливая, честная на грани наглости.

Потом я увидела то, чего почти никто не видел: между тостами она дважды поправила браслет, хотя он не сдвинулся ни на миллиметр. Жест привычки, не жест статуса. И ещё на две секунды прикрыла глаза — не от усталости, а так закрывают перед выходом на сцену. Вывод я сделала мгновенно и дорого заплатила за него потом: человек, живущий в роли на голом волеизъявлении, опаснее спокойных.

А рядом с ней — он.

Дэмиан Кросс.

Я узнала его сразу, хотя не видела раньше вживую: тёмные волосы, стальная линия челюсти, дорогой костюм без блеска — настоящий класс не умеет блестеть. Мужчина, выкупающий этажи города, чтобы его невеста спала в тишине.

Но заметила я его не поэтому.

Я заметила его потому, что он единственный в этом зале не улыбался.

Он сидел неподвижно и смотрел на невесту так, как смотрят на отчёт за третий квартал: с уважением и без интереса. В его лице не было ни скуки, ни злости — просто функция. Человек-функция.

Разглядывать его я не собиралась — у меня был план: простоять ужин, вернуться в дежурный кабинет, разобрать запасы. Но наши взгляды встретились через весь зал, между бокалами, спинами и чьей-то белозубой охраной.

Он смотрел не на бейдж, не на форму — на меня. И я поняла, что он не видит медсестру. Он видит человека. И это было настолько неожиданно, что я первая отвела глаза — не из робости, а потому что взгляд этого человека стоил слишком дорого, чтобы тратить на него выходные.

— Камилла, милая, — донеслось от стола Альтов, — расскажи им про благотворительный фонд.

Камилла рассказала. Красиво. Она умела рассказывать так, что люди начинали плакать на третьем предложении и открывать чековые книжки на четвёртом.

Кросс смотрел на неё. Спокойно. Терпеливо. Как человек, который знает все слова заранее, потому что сам их когда-то и одобрил.

Люди, живущие напоказ, спят в разных комнатах.

Он стоил мне дороже, чем всё, что я зарабатываю.

К половине вечера зал заговорил о втором человеке — тем особенным способом, каким говорят о погоде: без имени, по местоимениям. «Он здесь». — «Он взял выходные». — «Он вообще не бывает на таких вещах». Я слушала и не понимала, о ком речь, — пока не посмотрела на пирс.

Яхта Альтов стояла на белом огне, как операционная на всю палубу. На корме накрывали стол: двенадцать приборов, равные ставки — за таким столом проигрывают острова. Охрана

мерила палубу шагами — так меряют зал перед прибытием пациента, к которому приложена пометка «опасен для окружающих».

К трапу шли двое. Мужчина, которого я не знала в лицо, — и женщина, которую мир знал по имени и не знал по адресу.

— Леон Ашфорд, — сказала Нина, проследив за моим взглядом. — Единственный человек на этом конгрессе без бейджа: ему не выдают — он не пользуется. Запомни лицо, Рейн. Завтра оно будет в каждой колонке, а послезавтра его будут отрицать.

Он шёл не быстрее и не медленнее окружающих — так ходят не по территории, а по своей. Рядом с ним шла модель — та самая, что позавчера в Милане вышла из аэропорта под тридцать камер, пока он молчал: колонки назвали это «самой дорогой тишиной сезона». Сейчас она несла его плащ и рассказывала прессе, что он читает контракты в её присутствии — и что это самое романтичное, что она видела.

Гости тянулись к нему, как тянутся к выходу. Богатые люди с собственными фамилиями шли на полшага позади, как свита, которой не платят: держали плащ, подавали телефон, называли вслух имена, которые обычно произносят шёпотом. Он не отказывал никому и не отвечал никому — вежливость у него была, пропуска не было. Женщины пытались поймать его внимание так, как подходят к витрине: знают, что стекло не откроется, — и всё равно подходят.

— И это лучший вечер его года? — спросила я.

— Это лучший вечер любого года, — сказала Нина. — Он не бывает на вечерах. Но это не вечер — это стол. Адибек ради этого стола месяц двигал дату конгресса. А Келер проиграет ему до утра — вот это я понимаю.

Я не смотрела в его сторону — у меня был план: простоять ужин, разобрать запасы, не попасться на глаза. Но один взгляд я всё-таки поймала.

Он стоял у трапа, ожидая, пока охрана закончит свою геометрию, и его взгляд прошёл по террасе — по столам, по женихам и невестам, по белым скатертям — и остановился. На мне. Секунда. Я засекла: секунда и ещё половина. Взгляд не был оценкой и не был функцией — он был похож на то, как я сама держу чужое запястье: не чтобы удержать. Чтобы свериться, что живое.

— Тебе показалось, — сказала я себе ровно. Это была не догадка, а арифметика: люди с его строкой в колонках не смотрят на медсестёр у стены. На бейджи смотрят. На пульты. На выходы.

Я вернулась к залу, к схеме, к плану. Но секунду с половиной я занесла в память — без объяснения, без цены и без права на возврат.

Позже, сквозь гром, с пирса долетал смех карточного стола: игра шла уже без Келера — он проигрался к полуночи и ушёл. Я не знала тогда, что считать там будут не только ставки.

* * *

Шторм пришёл в полночь и вежливо выключил свет во всей вилле.

Первый удар молнии погасил люстры в главном зале. Второй — вырубил всё остальное. Генератор давил на дежурные лампы — тусклые, красные, будто клиника перешла на режим «мы всё ещё живы, но не обещаем ничего».

В зале началась суматоха. Владельцы империй переговаривались по спутниковым телефонам, охрана носилась по коридорам, а я с двумя другими медсёстрами прошла по флигелям и проверила, нет ли среди гостей тех, кому гроза грозит здоровьем. Ничего. Богатые люди почти никогда не болеют вовремя.

Обход не был моим заданием. Я сама набрала дежурного врача и предложила его: в списке гостей значились трое с кардиостимуляторами и один с аневризмой, и ни один из них не умел падать красиво. Врач сказал: «Делайте, что считаете нужным» — и это была первая инструкция за вечер, которую я согласилась исполнить.

Консьерж нашёл меня у лестницы. Худой мальчик лет двадцати пяти, который весь вечер вежливо держал на себе вес чужих капризов.

— Простите, мисс Верес, — сказал он, протягивая мне карту-ключ. — Из-за сбоя доступа мы переселяем персонал из служебного крыла в гостевое. Вам — двенадцатый номер. Второй этаж гостевого корпуса, тихая сторона. Карты выдаём по две, но обе забрал господин Келер — просил передать вам эту лично.

— А двенадцатый в основном корпусе?

— Он выселен, мисс. Там ремонт вентиляции, мы снимали все таблички. После ремонта нумерацию пересобирают — двенадцатые теперь есть в обоих корпусах. Нумерация сегодня… — он виновато развёл руками. — Запутанная. Но карта работает только от одной двери. Не переживайте.

— А кто выбрал мне этот номер?

— Господин Келер, мисс. Просил поселить вас по соседству с собой — он в четырнадцатом. Тринадцатого у нас нет: в приличных домах его не существует. Так что сосед у вас будет ровно один.

— Я никогда не переживаю, — сказала я и взяла карту.

Это не было преувеличением: я и правда не умела переживать — научилась не делать этого вслух. Паника — привилегия тех, у кого нет пациентки, переставшей дышать в шесть утра.

В номере я сменила халат на футболку, отправила одно сообщение и получила одно:

«После полуночи. Как обычно».

Андреас.

Мы знакомы три года и встречаемся два раза в год — на конгрессах, в разных городах. Андреас Келер — швейцарец, консультант по корпоративной безопасности, к слову которого прислушиваются люди, покупающие острова. Весь день он провёл на яхте Альтов. И у него хватило ума не влюбиться в меня, а у меня хватило ума не разочароваться в нём.

Правил у нас было ровно два: никаких имён после полуночи и никакого света.

Не потому что он некрасивый или я стесняюсь. Просто в темноте люди честнее. В темноте никто не играет роль — даже я.

Дверь я заперла. После сбоя полагалась не щеколда, а карта: номер открывался только ею. Карты у этой двери было две — в приличных домах их выдают по две. Моя теперь лежала под подушкой. Вторая была у Андреаса — так было заведено годами: я запираюсь и жду, он входит сам, без стука. Стук означал бы, что нас могут услышать, а он и я вместе жили в мире, где не могло быть посторонних.

— И ты правда его ждёшь? — Нина стояла в дверях с телефоном в руке. — Здесь? На вилле, где на каждом углу висит устав больше, чем Конституция?

— Здесь. Он приедет как гость, уйдёт до семи, и никто не узнает.

— А если узнают?

— Если узнают, я скажу, что это не мой номер.

— И что, поверят?

— На случай, если не поверят, — я показала на вентиляционную решётку под потолком, — там ремонт. За этой дверью никто не спит и никто не останавливается. Тише будешь только в сейфе.

Нина посмотрела на меня так, как смотрят на человека, который нарочно идёт к пропасти, потому что у пропасти хорошие виды.

— Ты ненормальная, Рейн.

— Я предсказуемая. Это лучше.

— Ничего себе предсказуемая. Мадам, вы сейчас влезете в чужую кровать на закрытой территории под штормом. Это самая предсказуемая катастрофа, какую я видела.

— Спасибо, — сказала я. — Меня именно это и успокаивает.

Нина ушла. Я легла, не включая свет. Это тоже был наш сигнал: не зажигать — значит, всё в силе.

* * *

А теперь — то, о чём я не могла знать тогда.

В это же время в западном флигеле Дэмиан Кросс снял с запястья часы и положил их на тумбочку.

Он не помнил, сколько выпил после ужина. Почти всю бутылку виски — по стакану за каждое слово, которое не сказал за столом. Хотел, чтобы в голове стало тише; стало не тише, а страшнее.

— Ты не пришёл, когда я выступала, — сказала Камилла тихо, пока гости ещё не разошлись. — Фонд — моя работа, Дэмиан.

— Твой фонд — твой проект. Я был на двух встречах по этой вилле. Можешь проверить у Анри.

— Я не проверяю. Я замечаю. Это хуже.

Он ничего не ответил. Молчание она прочла по привычке: он уступит. Дэмиан всегда уступал ей в мелочах — за это она и выбрала его.

Но в эту ночь он не хотел уступать.

— Камилла уже у себя? — спросил он у консьержа позже, уже без галстука. Он выпил достаточно, чтобы пойти, и недостаточно, чтобы передумать.

— Двенадцатый, сэр? Люкс готов. Карты после ремонта все без имён, но вашу я проверю лично. Только имейте в виду: система сегодня сбоит из-за грозы, замки принимают что попало. К утру починим.

Сегодня он выпил больше, чем следовало, и усталость, копившаяся пять лет, перевесила расчёт. Он шёл лечь в постель своей невесты — впервые за пять лет, чтобы завтра ей было нечего замечать.

Шторм выл за окнами, свет так и не включили. Сбой, днём переселивший персонал, к ночи добрался и до замков: электронные двери начали принимать чужие карты. Консьерж шёл за Дэмианом по коридору и виновато бормотал, что номера после ремонта перепутались, что систему проверят к утру. Дэмиан не слушал — дорогу к двенадцатому номеру он знал наизусть, как любую цифру, от которой зависят его деньги. Между западным флигелем и гостевым корпусом тянулся стеклянный переход; после ремонта таблички на обоих этажах висели одинаковые, а хмель, которому нужна была только цифра, вопросов не задавал. Дверь с цифрой «12» он принял без единого сомнения.

Он приложил карту к замку. Тот мигнул зелёным — не так, как мигал всегда, но в голове шумели виски и гроза, и он не заметил. Дверь открылась.

* * *

Замок мигнул зелёным и щёлкнул. Дверь открылась сама — без стука, без слов.

Я не удивилась. Андреас никогда не стучит — стук означает, что кто-то может услышать, а он и я вместе живём в мире, где не может быть посторонних. Вторая карта от этой двери была у него — так была устроена наша игра с самого первого вечера. Замок принял её и открыл. Всё сходилось до последней детали. Это была не догадка, а ошибка, и я совершила её за секунду.

Тьма была полной, тёплой, живой. Через неплотно прикрытые шторы прорывалась полоска молнии — раз в несколько секунд комната на миг становилась серой, и всё, что я успевала увидеть, — силуэт. Высокий. Широкие плечи, знакомая тяжёлая линия. Он снял пиджак и положил его на кресло — я услышала, как ткань скользнула по коже.

И тут же — его руки.

Что-то в них было не так. Не плохо — иначе. Эти руки были увереннее, чем я привыкла, тяжелее, как будто принадлежали человеку, который привык держать в ладонях не тело,

а целые здания. Он коснулся моего запястья — и я поняла: он не ищет. Он всегда знает, куда идти.

Я не заговорила. Правило. И он не заговорил — и это было правильно, потому что в темноте слово разрушило бы всё, что здесь было построено.

Он пах знакомо. Кедр и дымка — аромат, который я знаю наизусть по двум годам встреч: Андреас носил его всегда, в любой стране, в любом отеле. Совпадение имело простое объяснение: мужчины, которые покупают костюмы в одних магазинах и останавливаются в одних отелях, носят один и тот же дорогой безымянный парфюм. Верхушка мира пахнет одинаково — и в тот вечер это было последней деталью, складывавшей картину. Всё сходилось. Слишком сходилось.

Он дышал иначе. Медленнее. С задержкой на вдохе — как человек, который в жизни не привык отпираться перед собой. Я чувствовала это дыхание у своей щеки, и оно было горячее, чем всё, к чему я привыкла.

Я думала: он устал, у него был тяжёлый вечер. Я думала — и перестала думать, потому что его ладонь легла на мою талию так, как не прикасался ещё ни один мужчина: вокруг, как будто держал целую сферу и не хотел её уронить.

Я открыла глаза в темноте — так же бессмысленно, как включать свет в подземном тоннеле. Ничего не увидела. Только серые вспышки за шторой и его лицо — на полсекунды, каждый раз, когда небо рвалось молнией. Резкая линия челюсти. Тёмные волосы. Глаза, которые в полутьме казались почти чёрными.

Странно. У Андреаса не было такой челюсти. У Андреаса вообще не было такого лица.

Но руки говорили за меня. Я не отстранилась — и это было единственное, что я сделала в ту ночь по-настоящему правильно, хотя тогда я об этом не знала.

Пальцы его пробежали по моей ладони — медленно, как читают шрифт Брайля, — и остановились на внутренней стороне запястья. Там, где пульс. Он держал моё сердцебиение между двумя подушечками пальцев, как стрелку прибора, и я вдруг поняла, что он не столько прикасается ко мне, сколько сверяется со мной: живая, настоящая, здесь.

Гроза ударила ближе. Дуб перед окном согнулся, и тень его ветвей на миг легла на штору, как рука.

Мы молчали оба. Его дыхание учащалось — я чувствовала, как оно падает на мою ключицу и раскалывается. И это молчание было последним правилом, которое я ещё не успела проверить: он не произнёс за всю ночь ни одного слова. Ни просьбы. Ни разрешения. Ни чужого имени. Слово в темноте стоило слишком дорого — и он знал эту цену не хуже меня.

Странная вещь: когда он молчал, я не думала о том, кто он. Гроза ударила снова — и весь мир на секунду разделился на два варианта: либо да, либо нет. Ничего третьего. Ни объяснений, ни утренних обещаний, ни логики — только вспышка за шторой и его ладонь на моей талии.

Я замерла.

Не от страха. От ясности. Молчание ударило обо мне, как молния о громоотвод, — и не убило. Оно просто разошлось по всем моим нервам.

Я не знала, кто это. Я не знала, кого выбираю. И я сделала то, что делаю всегда, когда не знаю ответа: доверилась своему телу.

Оно знало лучше меня.

Если бы в ту секунду кто-то включил свет, он увидел бы женщину, которая лежит в чужой комнате, в чужой кровати, в чужой роли, — и не хочет выходить из неё. Он увидел бы, что она не закрыла глаза от страха, а открыла их от ясности.

Я выбрала да.

Что было дальше, я расскажу не всё — не потому, что не помню. Потому что не всё переводится в слова: за ту ночь не прозвучало ни одного. Но звуков было больше, чем за всю мою жизнь до неё, — и они расскажут сами.

Слов не было — но тишины не было тоже. Первым прозвучал не стон, а выдох: его ладонь шла от талии вниз, по изгибу бедра, и моё дыхание сорвалось раньше, чем его пальцы дошли до конца. Он замер — вопрос, на который не было слов. Я ответила так, как отвечают телом: подвела колено, открылась навстречу. И выдохнула — коротко, сдавленно, почти беззвучно.

Тогда гром раскатился совсем близко, над самой крышей, так, что дрожало стекло. И мы поняли правило одновременно: в грозу можно быть громкими. Раскаты укрывали звуки, как одеяло. Каждый громовой удар был разрешением.

Он накрыл меня собой — медленно, как накрывают чем-то слишком ценным, чтобы уронить. Его вес был не тяжестью, а присутствием: грудь к груди, сердце к сердцу, и между нами — тонкая, пульсирующая граница, которая исчезла в ту секунду, когда он вошёл в меня. Медленно. До конца. Как входят в чужой дом — спрашивая разрешение каждой деталью.

Мой стон вырвался низко, из самой глубины груди, — и утонул в грому. Спина выгнулась дугой, позвонок за позвонком отрываясь от простыни, и его рука скользнула под поясницу — поддержала эту дугу, как поддерживают свод. Он ответил не словом — звуком: низким, дрожащим на выдохе, тем, какой не издают люди, привыкшие владеть собой. Впервые за ночь я услышала, что он не владеет собой.

Мы нашли темп, который не задавал никто из нас. Он двигался — и слушал; я стонала — и направляла. Громче — значит глубже. Тише — значит медленнее. Гроза была нашим дирижёром: в раскаты он врывался в меня до отказа, и мой стон поднимался по октавам, пока не срывался в почти крик, спрятанный в громовой вал; в паузах между молниями мы замирали на последнем дыхании — и тогда звук зажимался у меня в горле и превращался в мелкую дрожь, которую он чувствовал всем телом. Его стон всегда был тише моего — но ниже. Такой звук рождается не в горле, а в груди, на границе с сердцем.

Потом я перевернула его. Это была моя территория — правило, которое я никогда не озвучивала, но всегда выдерживала: сверху остаётся та, кто держит ритм. Я прижала его запястья к подушке — тем же приёмом, каким он час назад держал мой пульс, — и двигалась медленно, слушая, как ломается его дыхание. Он стонал теперь чаще — глухо, сквозь стиснутые зубы, и каждый звук был маленькой капитуляцией. Когда я наклонялась, мои волосы падали ему на лицо, его губы находили мою грудь — и уже мой стон перестал быть сдержанным, потому что гром бил без пауз.

Он вырвал одну руку — не силой, а правом, которое сам же заработал этой ночью, — перехватил меня за талию и развернул. Я оказалась на боку, спиной к нему, и он вошёл сзади — глубже, чем раньше, так, что белые вспышки я видела уже не только за шторой. Его ладонь легла мне на живот и поднялась — легла между грудей, и он держал меня так, что моё сердце билось прямо о его руку. Мой стон стал другим: глуше, интимнее, я закусила собственное запястье — но гром оказался сильнее приличий, и звук всё равно вырывался наружу, рваный, молящий, не мой и не его, а общий.

Его дыхание рвалось у моего затылка — короткими, оборванными вдохами, между которыми прорывался звук, похожий на рычание, придавленное силой воли. Он не говорил. Но тело его говорило с превышением всех дозволенных децибел.

Потом — дыхание, как прибой: рваное, сбивчивое, постепенно выравнивающееся. Мокрые от грозы и жара спины. Его сердце под моей ладонью — частое, нестабильное, моё. Ни слова за всю ночь.

Эта ночь была не «хорошо».

Шторм бился в окна всю вторую половину ночи. Он то утихал, то рвался обратно — и каждый раз, когда за окном вспыхивало, я видела его профиль. Он не спал. Он смотрел в потолок так, как смотрят люди, у которых потолок — небо над страной, которую нельзя ни купить, ни оставить.

Он держал меня так, как никто и никогда, — но не как «моё». Как будто я была его последней надеждой на что-то человеческое.

Я отвечала ему тем же.

Под утро гроза выдохлась. Море ушло за горизонт и оставило после себя ту особенную тишину, в которой слышно, как остывает асфальт. Где-то на юге, в сервисных корпусах, просыпался персонал: скрипела тележка, кто-то ронял стекло, кто-то смеялся вполголоса. Вилла просыпалась. Мир возвращался.

И ни один из нас за всю ночь не произнёс больше ни слова. Слов действительно не было. Но тихой эту ночь не назовёт никто.

* * *

Я проснулась от голоса за дверью.

— Рейн? — произнесли вполголоса, с той особенной интонацией, с которой извиняются перед спящей. — Всё в порядке? Прости. Я засиделся за покером на яхте — не заметил, как кончилась ночь. Уже седьмой час, я…

Андреас.

Свет был чистый, серый, утренний. Шторм кончился, и где-то на лестнице кто-то распахнул окно навстречу свежему морскому воздуху.

Он лежал рядом — на спине, закинув руку за голову, — и проснулся от того же голоса. Мы повернулись друг к другу одновременно, ещё наполовину во сне, — и увидели друг друга.

Не Андреас. Не человек с полосы молний — того, другого, я никогда не видела при свете. Его.

Дэмиана Кросса.

Человека, который вчера через весь зал смотрел на свою невесту так, как смотрят на отчёт за третий квартал.

Человека, рядом с которым я проснулась.

Мозг отработал мгновенно, как тренажёр: оценить ситуацию, выстроить версию, выбрать линию поведения. Версия была готова за секунду: сбой замков, чужая карта, чужая дверь, номер, который из-за грозы перепутали. Всё складно. Всё — ложь.

Потому что правда была проще и страшнее: я знала. Я знала уже в темноте, что руки чужие. Я знала это в ту секунду, когда его ладонь легла на мою талию — и не остановилась. Я знала — и не остановилась.

— Рейн? — за дверью постучали ещё раз — вежливо, костяшками пальцев, как стучат коллеги, а не те, кто приходит по ритуалу. — Ты спишь?

Я молчала. Три секунды молчания весили больше, чем вся моя жизнь за последние два года.

— Спишь, — решил Андреас сам. — Уже утро, ритуал кончился. Я у себя, в четырнадцатом. Позавтракаем, когда проснёшься.

Шаги ушли влево, к соседней двери, и стихли.

Мы лежали и смотрели друг на друга — вплотную, на расстоянии одного вдоха. Его лицо было спокойным, только глаза — единственные два места в комнате, где всё ещё гремел шторм.

— Сколько времени? — спросил он. Голос был ровный. Такими голосами обычно управляют странами.

— Без четверти семь.

Он сел — медленно, как поднимаются после операции, проверяя, целы ли швы. Посмотрел на пиджак на чужом кресле, на карту в собственной руке — карту, которая открыла не ту

дверь. Пересчитывал, как я понимаю, всё, что сломалось за эту ночь: контракт, свадьбу, репутацию, имя, которое не произносят вслух.

Я сидела рядом и тоже пересчитывала. Правила, которые я нарушила за одну ночь: свет, имя, тень сомнения. По его лицу было видно: он насчитал больше.

— Этого не было, — сказал он наконец. — Так?

— Так. Никогда.

— Здесь никого не было. Ни меня, ни тебя.

— Была гроза, — сказала я. — Гроза всё погасила. Пусть она же всё и включит обратно.

Он кивнул — коротко, по-деловому, как ставят подпись под соглашением, которое не читают. Оба мы растерялись до предела и оба старались выглядеть людьми, которые никогда не теряются. Оба знали, что это ошибка. Оба знали, что это неправда. Оба умели держать лицо — и держали.

Он оделся быстро и молча, как раздевался ночью. У двери он остановился. Я ждала, что он скажет хоть что-нибудь — любое слово, которое можно повесить на стену вместо картины. Он повернулся, посмотрел на меня так, как смотрят на документ, который нельзя ни открыть, ни удалить, и вышел.

Ни имени. Ни номера телефона. Ни обещания вернуться. Я даже не успела понять, хочу ли я, чтобы он вернулся, — а решение уже было принято за нас двоих.

— Ты не знаешь, как меня зовут, — сказала я вслед закрытой двери. — А я знаю, как тебя. Это нечестно.

Дверь не ответила.

Я встала. Моя карта лежала под подушкой — нетронутая. Андреас пришёл только под утро, сам сказал это через дверь. Значит, ночью дверь открыл не он. Значит, замок принял чужую карту. Или сбой, о котором весь вечер шептала вилла. Или вторая карта, проведшая ночь не у своего хозяина. Всё, что я считала ритуалом, оказалось дырой в заборе.

Мне повезло, что вошёл только один.

Он вышел первым. Так я думала тогда: первый выходит с проблемой. Он вышел с намерением её решить.

За окном, чистое и бессовестное, начиналось утро.

* * *

А теперь — то, о чём я не могла знать в то утро.

В своём номере Дэмиан Кросс стоял посреди комнаты, не включая свет, и слушал, как в груди остывает ночь.

Карта лежала у него в руке. Его карта — от номера в западном флигеле, который он снял для Камиллы. Замок гостевого корпуса принял её и открыл чужую дверь. Сбой системы: после грозы замки принимали что попало, консьерж предупреждал его об этом в лицо. Он не слушал.

По расчёту следовало забыть. Немедленно. Свидетелей нет, имён нет, коридор к вечеру растворится вместе со сменой. Классический ноль: сумма, которой нет в отчёте, не существует.

Но он поймал себя на том, что помнит не «что произошло», а мелочи. Как она держала его запястье двумя пальцами — как держат пульс. Как не спросила ни имени, ни объяснений — и ни разу не соврала. Как смотрела на него при свете: без страха, без жалости и без надежды.

И ещё он помнил главное: она знала. С первой вспышки молнии. И не остановилась.

Женщин, умеющих не останавливаться, в его мире не было.

Подписать бумаги о неразглашении он решил не из осторожности — так поступают все, у кого есть юристы. Но пока он диктовал условия, он понимал, что ищет предлог. Настоящая причина была проста и беспощадна: он хотел увидеть её ещё раз. При свете.

Тут он обнаружил, что не знает её имени.

Вообще. Ни имени, ни фамилии, ни должности, ни возраста. Женщина, с которой он провёл самую честную ночь за пять лет, не оставила в его мире ни одной строки, по которой

её можно было бы найти. Он привык, что о каждом человеке в его орбите есть папка: имя, история, цена, слабое место. У неё не было ничего. Это разозлило его сильнее, чем сбой замка.

Камеры. Система видеонаблюдения писала каждый коридор и каждый выход к воде. Он поднял записи — и нашёл её по походке раньше, чем по лицу. Бейдж на груди читался. Имя на нём было чужое: М. Верес.

Служба персонала подтвердила: ночную смену на конгрессе выходила девушка по фамилии Верес — на её имя были оформлены допуск, пропуск и страховка. Замена на три дня. Марго не смогла — и вместо неё вышла я: со своим лицом, своим характером и чужим именем на бейдже.

Он поручил проверить, кто такая Марго Верес. Ответ пришёл раньше, чем он допил кофе: на бумаге она существовала, в его мире — нет. По всем документам в ту ночь в двенадцатом номере работала медсестра, которой не существовало.

След, который должен был привести к ней, вёл в туман. Но Дэмиан Кросс не любил туман. Он любил двери — и знал, что любую запертую дверь открывает не ключ, а человек, у которого есть ключ.

* * *

Того же она не знала и про вторую карту.

Всю ночь Андреас Келер просидел за покерным столом на яхте Альтов — проигрывал, отыгрывался, смеялся чужим шуткам, как умеет человек, превращающий проигрыш в часть стратегии. Пиджак с картой от двенадцатого номера он скинул на спинку кресла ещё в полночь и больше о нём не вспомнил. Своя карта, от четырнадцатого, всю ночь пролежала у него в брюках: к соседней двери он вернулся под утро и постучал не потому, что стал вежливее, — просто ритуал кончился вместе с ночью.

Карту от двенадцатого номера он вспомнил только днём — когда он вернулся в каюткомпанию за пиджаком, а внутренний карман оказался пуст. Куда она делась за ночь, не знал уже никто.

* * *

В полдень Дэмиан Кросс сидел на кормовой террасе яхты Альтов — она всю ночь простояла на причале у виллы, пережидая шторм вместе с теми, кто не доверял крепости суши, и теперь качалась на спокойной воде, как будто ничего не было.

Стол был накрыт для двоих: кофе, фрукты, ни одного лишнего прибора. Камилла сидела напротив, в белом, и держала лицо так, как держат бокал, — без единой волны. Но за вежливостью уже просыпалось раздражение.

— Ты опять не пришёл, — сказала она наконец. Не спросила — констатировала факт.

— Была гроза, — сказал он. — Замки сбоили.

— Замки сбоили. — Она повторила это так, как повторяют чужую отговорку, чтобы дать понять: слышала её раньше. — Я ждала до четырёх, Дэмиан. Ночь перед объявлением помолвки. Восемь человек из совета ждали тебя к завтраку. Ты понимаешь, как это выглядит?

Он смотрел на неё и слушал — так, как слушал всегда: вежливо, на полпути между уважением и скукой. Перед ним сидела женщина, с которой он прожил пять лет и с которой собирался прожить ещё пятьдесят: по расчёту, по слову, по подписи. Красивая. Выверенная. Безупречная.

И всё, что он мог вспомнить за эту ночь, была не она.

Он вспоминал ладонь, державшую его запястье двумя пальцами, как прибор. Полосу молний на чужом потолке. Впервые за пять лет он лежал рядом не с обязательством, а с человеком — и уже не мог вспомнить, как выглядело её лицо при свете. Только походку. Только линию плеча.

— Прости, — сказал он.

Одно слово. Самое дорогое, что он дал Камилле за пять лет, — и даже оно было отдано не ей.

Камилла приняла извинение так, как принимают дивиденды: без восторга, но с прибылью. Разговор перешёл на фонд, на советы, на список гостей к вечеру. Дэмиан кивал и отвечал вовремя — человек-функция снова вернулся на своё место и застегнул все пуговицы.

И тут он увидел их.

По набережной шли двое. Женщина — светлая рубашка, волосы на затылке, походка человека, никогда не опаздывающего, потому что никогда никого не ждёт. Он узнал её раньше, чем рассмотрел лицо: тело помнит тело. Рядом — высокий мужчина в костюме без логотипов, лицо, которое она видела вспышками молний.

Дэмиан узнал и его — такие лица проходят через переговорные слишком часто. Консультант по корпоративной безопасности. Гость конгресса, соседний номер гостевого корпуса, фамилия в списке приглашённых.

Пара шла вдоль воды и говорила легко, на равных — как говорят люди, между которыми ничего не произошло. Или произошло давно. Он смотрел, как она смеётся чужой шутке — коротко, одними глазами, — и впервые в жизни понял, что такое ревность: не слово, а стрелка, зашкаливающая без причины и не спрашивающая разрешения.

Камилла проследила его взгляд.

— Что там? — спросила она.

— Ничего, — сказал Дэмиан Кросс и впервые за пять лет соврал ей, глядя в глаза.

Пока двое удалялись по набережной, он успел решить всё.

Он не знает имени женщины — но знает, с кем она уходит. Фамилия консультанта стоит в списке гостей и стоит одного звонка. Камеры запишут, куда они пойдут и где расстанутся. Люди из службы безопасности не бывают анонимными — это их единственная слабость. Он найдёт его. А тот приведёт туда, где она.

Он ещё не знал, что искать долго не придётся: через три дня она войдёт в его кабинет сама — по документам, с чужим именем на бейдже и с бумагой о неразглашении в руках, которая начнётся словами «стороны обязуются никогда…».

Но это будет в среду. А пока он отпил кофе и улыбнулся — впервые за неделю по-настоящему.

Охота обещала быть лёгкой. Слишком лёгкой — и именно поэтому правильной.

Конец первой главы.

Глава вторая. Правила игры

Есть два способа пережить ночь, которой официально не было: доказать, что она была, или выстроить вокруг неё правила. Я выбрала правила. Не потому, что они лучше, — потому что правила можно подписать. А признание в тумане под подпись не ставят.

* * *

В понедельник клиника приняла меня обратно, как принимают бетонную стену: без вопросов и без памяти.

Реанимация — единственное место, где прожитые выходные не существуют. Здесь есть только то, что монитор показывает прямо сейчас: давление, сатурация, ритм, который можно поймать рукой. Я вошла в свой график, как в воду, которую сама подогреваю. К девяти я открыла две вены, к одиннадцати — поставила на ноги человека, который неделю считал, что умирать интереснее, чем жить по протоколу. К двум часам дня я была полностью собой.

Почти.

Нина нашла меня у кофемашины, которая за два года так и не научилась варить кофе, хотя претензии ей предъявляли все, кроме неё самой.

— Я весь уик-энд гадала, что с тобой случилось, — сказала она вместо приветствия. — Ты вернулась с конгресса с лицом человека, который подписал не тот контракт.

— Я не подписала ни одного.

— Именно это меня и насторожило. Ты умудрилась не подписать то, что подписывают все. — Она придвинулась ближе и понизила голос до шёпота бариста. — Рейн. Я задам один вопрос. И хочу честный ответ, а не медицинский.

— Задавай.

— Кто-то умер?

— Нет.

— Кто-то родился?

— Хуже. Кто-то остался на плаву.

Нина смотрела на меня ровно десять секунд — я засекла. Потом придвинула телефон.

— Тогда держи. Это пришло в отдел страхования сегодня утром. Запрос: индивидуальный медицинский осмотр, сопровождение реанимационного уровня, к среде. Оплачен не страхователем — обществом с ограниченной ответственностью, у которого я знаю адрес и знаю, чьё имя стоит в графе «бенефициар».

Я посмотрела на экран. Фамилия стояла там. Кросс.

— Он запрашивает осмотр, — сказала Нина. — В его мире так открывают двери: не ключом — процедурой.

— Знает. Просто ещё не знает, что я знаю, что он знает.

Нина отняла у меня телефон и посмотрела так, как смотрят на пациента, который снял с себя кислородную маску, чтобы сказать что-то важное.

— Рейн. Устав.

— Я знаю, что в уставе.

— Повтори хотя бы для себя: никаких связей с клиентами. Никаких.

— Он не клиент. Он — сторона по договору. Разница в том, что клиенту я обязана, а со стороной договора я в равных условиях. Впервые в жизни — в равных.

Нина открыла рот. Закрыла. Потом сделала то, что делают юристы, когда проигрывают доводы, но не проигрывают дело:

— Хорошо. Что тебе нужно?

— Договор о неразглашении. Симметричный: одинаковые обязательства для обеих сторон, равная ответственность. Ты пишешь — я правлю. И ещё одно: имя Марго Верес должно исчезнуть из всех документов, которые он может получить. Официально она не выходила на ту смену. Официально на смену никто не выходил, потому что официальный человек не прилетел. Эта ложь должна стать идеальной — ложь из одного куска лучше правды с трещиной.

— Ты понимаешь, что если Кросс докопается, лететь будет не тебе, а Марго? Её подпись стоит под допуском.

— Именно поэтому мы идём вперёд, а не назад. Он ищет женщину, которой не существует. Когда жертвы не существует, следствие превращается в паранойю. Я отдам ему ту, которая существует, — и назову условия.

— Ты пугаешь меня всё сильнее.

— Меня пугает только одно: что он найдёт её раньше. Люди с деньгами находят всегда.

Надо отдать Нине должное: она не задала ни одного вопроса о том, что случилось в тот уик-энд. Может, не заметила. Может, юрист в ней прочитал между строк и промолчал — она умеет строить версию, не озвучивая её. Нина видела только то, что было на поверхности: подруга с лицом после выходных и чужой запрос в одном конверте. Всё, что было под поверхностью — номер, карта, человек, чьё имя я узнала из бумаг, — осталось за пределами её зрения, и я собиралась держать это там. Договор защищал меня от мира. Нина защищала меня от меня самой.

Вечером Марго прислала мне сообщение — короткое, в её стиле: «Ну как конгресс? Говорят, гроза убила половину рейсов. Прости, что подвела — в пятницу отработаю». Я ответила ровно столько, сколько нужно: «Скучно. Гроза, замки, бухгалтерия». Ложь из одного куска. Она поверила — Марго верит мне всегда, потому что я ни разу не дала ей повода не верить.

Договор Нина принесла на следующий день — во вторник — в конверте без марки, как передают документы, которых официально нет.

— «Стороны обязуются никогда…» — прочитала она вслух и подняла глаза. — Дальше мне писать или тебе?

— Тебе. Ты лучше знаешь, как звучат слова, которые никогда не сдерживают.

— Знаю. Их пишут в самом конце, после подписей.

— Ты поняла, что теперь ты — соучастница?

— Я это сделала не как юрист клиники, а как человек, который десять лет называет тебя подругой. Разница существенная: первая может потерять работу, вторая — репутацию. И учти: я делаю это один раз. В следующий раз я буду вставать на стороне устава — и на стороне устава я сильна.

— Одна ночь на два мира, — сказала я. — Спасибо, что выбрала мой.

— Я не выбирала. Я просто не умею быть на стороне глупости.

Нина собирала сумку неторопливо — так собирают те, кто хочет досидеть до продолжения. На середине она откинулась и подвинула мне телефон.

— Кстати. Смотри, кого город обсуждает уже третий день. — На экране светская колонка: «Леон Ашфорд и Линн Хольт: семь часов на одной яхте в Монако — и ни одной фотографии». — Это, между прочим, сенсация. Он не дал ни одного интервью за всю свою жизнь. Пресса продаёт его тень по цене портрета.

— Тень дороже. Портрет можно оспорить. Тень — нет.

— Ты не человек, ты арифметик. — Она полистала дальше. — Аукцион в Венеции, позавчера. Он ушёл через двадцать минут, не купив ничего. Модель, с которой он туда приехал, сказала в интервью дословно: «Он читает контракты в моём присутствии. Это самое романтичное, что я видела». — Нина посмотрела на меня с надеждой человека, который ищет хоть одну живую эмоцию. — Ну? Хоть что-то?

Эту фразу я уже слышала — от самой модели, на пирсе, слово в слово. Колонки живут на одних словах. Значит, кто-то один раздаёт их всем: прессе и моделям.

— Мне жаль её времени.

— Его?

— Обоим. Люди рядом с ним платят самую дорогую валюту — надежду.

Нина забрала телефон и посмотрела так, как смотрят на пациента, который отказывается от лечения, потому что симптом — его профессия.

— Ты опять куда-то смотришь.

— В договор, — сказала я. — Другого светского романа в моём бюджете нет.

* * *

А теперь — то, о чём я не могла знать в понедельник. На сороковом этаже начальник безопасности докладывал Дэмиану Кроссу: видеонаблюдение гостевого корпуса легло вместе со всей сетью виллы в ноль ноль три, резервное питание запись не вело. Между ноль ноль три и три сорок — дыра.

— Дыра, — повторил Дэмиан. — Длина дыры? — Три часа тридцать семь минут. — Судя по всему, самая дорогая дыра в моей биографии.

Утренние кадры были. На них женщина в форме выходила из номера гостевого корпуса в шесть пятьдесят два утра: ровная спина, собранные волосы, походка человека, который никогда не опаздывает, потому что никогда никого не ждёт. Бейдж на груди читался: М. Верес.

Проверка «М. Верес» заняла меньше часа. Марго Верес существовала: медсестра сети «Меридиан», женевский филиал, оформлена на конгресс с пятницы по воскресенье. Допуск, страховка, пропуск. Рейс из Женевы отменили из-за шторма — но по документам смена была закрыта, и её приняла… служба персонала развела руками: «Нам сказали, что Верес на месте. Не пришло в голову проверять женщину в форме с правильным бейджем».

Тупик на бумаге. Но Дэмиан Кросс тупиков не признавал.

Консьержа виллы интервьюировали трижды. В третий раз худой мальчик, державший на себе вес чужих капризов, вдруг посмотрел куда-то мимо и сказал:

— Лицо я помню — лица я запоминаю, это единственное, что я умею, — сказал консьерж наконец, глядя куда-то мимо. — А имя мне дала система: в ту ночь мы переселяли персонал из служебного крыла, я выдал больше сорока карт. Она заселилась как Верес. Мисс Верес. Другого имени у неё для меня не существовало.

Имя пришло само — туда, где его не искали. Запрос на частный медосмотр клиника подтвердила письмом, и в графе согласования графика стояло: «Специалист реанимационного профиля — С. Рейн, главный филиал». Бумага, которую он запрашивал, чтобы увидеть, как система работает, вернулась к нему с настоящим именем.

База персонала выдала одну Рейн: София Рейн. Реанимация высшего уровня, главный филиал. Биография чистая до неприличия: ни жалоб, ни опозданий, ни одного публичного профиля, ни одной фотографии, где она смотрит в камеру свободнее, чем на пропуск.

И — главное. В ночь конгресса, по дежурному журналу, София Рейн подписала смену в клинике главного филиала. За восемьсот километров от виллы. Смену подписали заранее — в пятницу, ровной разборчивой почерком.

Дэмиан смотрел на скан подписи минуту. Потом сказал без надежды на ответ:

— Ровная подпись в журнале, за который человек не брался. Или за неё подписали, или она подписала заранее, зная, что будет далеко. Или человек в восьмистах километрах умеет быть нигде.

— Запросить клинику? — спросил начальник службы безопасности.

— Нет. Персональные данные персонала «Меридиана» закрыты советом директоров. Половина голосов там у фонда старинного банковского дома. Ашфорды. Я знаю этот дом: менять их правила ради женщины из коридора — плохая сделка. Пока плохая.

— Тогда как?

— Обычно. Клиент имеет право на частный медосмотр. Оформите запрос, назначьте на послезавтра. Приду сам — в клиники приходят сами, когда хочешь увидеть, как система работает, а не как её продают.

Он не знал, что к послезавтра у него уже будет встреча, которую никто не назначал.

— Мисс Верес, — сказала ассистентка в дверях в полдень назначенного дня. — Консультант по медицинским протоколам. Она говорит, что не назначала вам встречу. Но вы её ждали.

* * *

Лифт поднимался сорок секунд — я считала. Не от страха: от привычки считать всё, что имеет числовое выражение. Страх такой счёт не лечит, зато организует.

Сорок седьмой этаж. Приёмная из стекла и высоты; город под ногами лежал как карта, на которой уже всё продано. Девушка на ресепшене приняла мой бейдж «М. Верес» без единого вопроса — бейдж и имя делают с людьми то же, что халат и форма: делают невидимыми.

Он вошёл в кабинет через минуту. Точно такой, каким я запомнила его при свете: человек-функция с одной разницей — теперь функция была моя.

От него пахло кедром и дымкой. При свете я узнала запах окончательно — так узнают в тёмной комнате собственную руку. Тот самый аромат — два года я знала его как запах Андреаса. Это совпадение работало, потому что мир наверху пах одинаково. И вот тогда я поняла, почему темнота обманула меня так безупречно: он был сам похож на себя.

— Мисс Верес, — сказал он.

— Мистер Кросс. Вы ошиблись дверью один раз в жизни. Второй раз, с моей стороны, было бы неуважением не исправить.

Он не улыбнулся. Сел за стол — тяжёлое кресло, трон, который не имеет представления о юморе, — и положил перед собой мой конверт.

— Договор?

— Договор. Симметричный. Равные обязательства, равная ответственность, равный штраф. Если хотите, назовём это нашим уставом.

Он читал дольше, чем я рассчитывала. Я изучала кабинет: ни одной фотографии, ни одной награды, ни одного следа личности. Комната, из которой удалили человека и оставили должность.

— Пункт четыре, — сказал он наконец. — «Ночь не повторяется по расписанию». Это условие написано не как запрет. Это написано как приманка.

— Это написано как правда. Запреты — это то, на чём вы строили всю жизнь. Я предлагаю то, что работает: отсутствие расписания. Если ночь повторится, это будет решением, а не сбоем замка.

Он поднял на меня глаза, и я впервые увидела его заинтригованным — не через зал, не при свете молний: в собственном кабинете, за собственным столом, против собственной логики.

— Вы просчитали меня, — сказал он.

— Я просчитала ситуацию. Вы — человек, привыкший, что о каждом вокруг есть папка. У меня папки нет, и это злит вас сильнее, чем сбой замков, — вы это уже поняли. Поэтому я приношу вам бумагу, которую вы и так написали бы, но с моими условиями. Впервые в жизни вы подписываете чужой протокол. Поздравляю.

Он откинулся на спинку кресла — медленно, как откидываются люди, которые не привыкли проигрывать.

— Мои правки.

— Слушаю.

— Пункт первый. Если кто-то — кто угодно, из мира, о котором вы не знаете, — задаст вам хоть один вопрос о той ночи, вы звоните мне первым. Не адвокату. Мне.

— Это пункт о безопасности или о ревности?

— Это протокол. В моём мире есть люди, которые собирают информацию о женщинах рядом с мужчинами, которые считаются занятыми. Они не спросят вас дважды, но один раз могут — и этого хватит. Вы звоните, дальше — моя работа.

— А если звонить вам нельзя будет?

— Значит, оговорка гласит: звонить можно всегда. Я добавил её специально.

— Принято. Вторая правка?

— Марго Верес. Вы не ищете её — я тоже. Её имя исключается из всех баз, к которым у меня есть доступ, и из тех, к которым доступа у него нет. Один вопрос, который я задам единожды: она знает, кем вы были в ту ночь?

— Она знает только, что на смену вышла я. Остальное ей знать не нужно.

— Тогда последний пункт.

— Слушаю.

— Имя. Вы поставите его под документом. Я ждал его три дня, а слово «нечестно» вы уже успели произнести.

Я взяла ручку. Подписала обе копии — как подписывают журналы дежурств. Потом отодвинула лист так, чтобы он мог прочитать.

— София Рейн, — сказал он. — Вы понимаете, что теперь у меня есть папка?

— Вы понимаете, что теперь у вас есть документ, который запрещает ею пользоваться?

Он усмехнулся — коротко, одними глазами, как я двое суток назад на набережной. Подписал. Оба экземпляра: синие чернила, две подписи, ни одного свидетеля. Я забрала свой и встала.

— Восемьсот километров, — сказал он вслед. — Вы подписали журнал сами.

— Вы задаёте вопросы после подписи. Это нарушение протокола, мистер Кросс.

— Тогда последний вопрос — вне протокола. Почему вы не боитесь?

Я остановилась у двери и подумала. Правильный ответ был длинным; время на длинные ответы я тратила только на пациентов.

— Я реаниматор. Трупы меня не пугают — я их возвращаю. Пугают живые, у которых внутри включённое молчание. Вы — живой, побеждённый в собственной комнате и подписавший чужой протокол. Это регулируемый риск.

— Регулируемый кем?

— Мной.

Дверь закрылась за мной беззвучно.

* * *

Той же ночью мне пришло сообщение без текста: координаты и одно слово — «Часы».

Отель я знала: тот, в котором после конгрессов ночуют люди, не доверяющие ни виллам, ни судьбе. Он держал номер постоянно — как держат резервный счёт: не ради выгоды, а ради случаев, когда нужно исчезнуть из собственной жизни.

Поднимаясь на тридцатый этаж, я перебирала правила договора, подписанного в полдень среды. И нашла в них одну ошибку: я иду на его территорию — а на его территории по умолчанию действуют его правила. Это я решила исправить первой.

Он открыл дверь в домашней рубашке, с расстёгнутой верхней пуговицей, и впервые за всё время, что я его знала, — то есть за двое суток, — выглядел так, будто ждал. И не любил признавать это.

— Ты пришла в мою комнату, — сказал он. — Я не планировал…

— Ты планируешь всё. Поэтому сегодня у меня два правила. Первое: свет горит.

— Свет?

— Свет. Тот самый, который я не включила и не должна была. Ты увидишь меня при нём. Второе: сегодня не командуешь ты. Ты в своей комнате — и именно поэтому проиграл ещё до того, как я переступила порог: человек, который привык владеть, не умеет быть гостем. Учись.

Я вошла. Не как женщина, которая ждёт, что её возьмут, — как медсестра, входящая в операционную: с точным списком шагов и нулевой терпимостью к импровизации со стороны анестезиолога.

Три ошибки из первой ночи я исправляла по одной. Имя произнесла под подписью. Вопросы задавала весь день. Оставался свет.

Свет горел — и это меняло всё. В первую ночь у нас был гром: соучастник, укрывавший каждый звук одеялом раскатов. Здесь не было ничего — только город за панорамным окном, лампа и два человека, которым впервые некуда было спрятаться. Звуку не оставили укрытия, и мы оба это знали. И ни один не предложил выключить свет. Это и был первый договор ночи.

Пиджак я сняла первой, медленно, не отводя взгляда: позволить смотреть — тоже форма власти, и он усвоил её быстрее, чем любой контракт. Рубашку расстёгивала я — пуговица за пуговицей, сверху вниз, и с каждой его дыхание становилось короче. Когда ткань спала с плеч, я положила ладонь ему на грудь: под кожей билось сердце — быстрое, неровное, чужое его собственному лицу. Оно билось о мою ладонь, как о дверь, за которой заперли всё живое.

Он попытался вернуть привычное: притянул меня за талию, развернул спиной к себе — жест владельца, который не спрашивает. Я не позволила. Развернулась к нему лицом, взяла его за подбородок двумя пальцами — тем же приёмом, каким он в первую ночь держал мой пульс, — и подняла его лицо к своему.

— Сегодня условия читает другая сторона, — сказала я. И поцеловала его так, как забирают город: улица за улицей, выдох за выдохом. Он сопротивлялся до того мгновения, когда его язык встретил мой, — и сдался весь, с низким звуком, похожим на выдох раненого.

Он отступал, пока ноги не упёрлись в кресло, — тяжёлое, чёрное, трон, который не имеет представления о юморе. Я толкнула его в кресло и села сверху, лицом к нему: колени по обе стороны его бёдер, спина прямая, всё на виду, при свете. Пусть смотрит. Пусть запоминает, что значит быть гостем на чужой территории.

Темпом командовала я — сначала издевательски медленно: подняться почти до конца, зависнуть на выдохе, опуститься снова — так, чтобы он входил в меня каждый раз заново, как в первый. Он держал меня за бёдра — пальцы сжимались глубже, чем нужно, и я чувствовала, как под ними вспыхивают первые синяки, — и стонал глухо, сдавленно, из самой груди. Я ускорилась. Его стоны стали чаще, короче, злее: человек, подписывавший контракты на континенты, не мог удержать в горле ни единого звука — и знал это, и больше не пытался.

— Смотри на меня, — сказала я. Он смотрел. Глаза тёмные, расширенные, впервые за две ночи без функции и без расчёта — только я, живая, при свете. Я двигалась до предела; кресло скрипело под нами — его вес, мой вес, ритм, — и мой стон сорвался в крик: открытый, не спрятанный ни в гром, ни в подушку, ни в собственное запястье. Мне было всё равно, кто слышит нас на тридцатом этаже. Спина выгибалась назад позвонок за позвонком, грудь поднималась к его губам — он поймал её ртом, и я закричала громче.

Не выдержал он — или я; к тому моменту я уже не различала, чей контроль сломался первым. Рывком, одним движением человека, который не умеет ждать, он поднял меня с себя — руки под бёдрами, мои ноги обхватили его поясницу — и прижал меня спиной к стеклу. За моей спиной внизу лежал город: огни, трассы, весь его мир, — и он вошёл в меня стоя, глубоко и жёстко, так, что моё отражение каждый раз вздрагивало в стекле напротив нас.

Я кричала уже без правил: рваными криками, между которыми прорывалось имя, которое я не произносила вслух ни разу.

— Дэмиан! — Не просьба. Выстрел. Он застонал в ответ — громко, во всю грудь, впервые не глуша себя ничем, и в этом звуке было что-то беззащитное, чего я не слышала ни у одного мужчины.

Он держал меня за бёдра и входил глубже с каждым движением, а я принимала и отвечала: ногами сжимая его поясницу, спиной оставляя на стекле следы тепла и пота. Лопатки, поясница, затылок — всё горело. Он наклонился и губами нашёл мою шею — там, где бился пульс, который он когда-то держал двумя пальцами, как прибор, — и теперь целовал его, как извиняются перед живым.

Последний отрезок мы шли вместе: он опустил мою ладонь себе на затылок — не приказ, а просьба, впервые, — и на последнем движении произнёс моё имя, тихо, как пароль:

— София.

Я кончила от одного звука собственного имени в его рту — волной, поднявшейся от поясницы и разбившейся обо всё тело разом. Мой крик отразился от стекла и вернулся к нам чужим эхом. Он пришёл следом — с рычанием, которое придавливал силой воли до последней секунды, а потом не смог и вырвал его на свободу, — и опустил меня на пол только тогда, когда ноги отказали у обоих.

Мы сползли на ковёр у кресла — я спиной к его груди, его сердце билось в мою лопатку. Город смотрел на нас снизу и впервые в жизни не находил, чем удивить Дэмиана Кросса. Свет горел. Выключать его не собирался никто.

Он гладил меня по спине — медленно, всей ладонью, как гладят не имущество, а живое. Мы лежали молча, и это молчание было первым, которое не пришлось выдерживать. Потом я поднялась на локте и сказала — вслух, впервые за две ночи объясняя, куда иду:

— Я в душ.

Он сел. Не «хорошо», не «жди меня» — просто встал и пошёл следом. Впервые в жизни человек, который не ходит ни за кем, пришёл следом.

Ванная была из белого мрамора — слишком большая для одного человека, как всё, что он покупал. Я включила воду, и горячая стена пара завесила зеркало. Он вошёл в кабину без звука, но ладонь его зависла над моим плечом — на сантиметр от кожи, спрашивая. Я ответила единственным способом, который у нас был: взяла его за запястье и притянула. Согласие больше не добывалось. Оно стало двусторонним жестом.

Вода била сверху, тяжёлая и горячая, размывая границу между телами. И тут мы оба услышали то, чего не было ни в одну из наших ночей: эхо. Кафель возвращал каждый звук — дыхание, вздох, стон — дважды, трижды, как будто в кабине нас было четверо. В первую ночь звуки прятал гром. Здесь им некуда было спрятаться — и незачем. Мы поняли это одновременно и перестали сдерживаться совсем.

Он начал сзади, под водой, — медленно, как начинают не движение, а ритуал. Его губы шли по моей шее, следуя за струями, ладонь легла на талию — туда, где утром останутся следы его пальцев, — и потянула меня назад, прижимая к нему. Я почувствовала его всей длиной — готового, терпеливого, горячего, — и мой стон утонул в шуме воды, став просто ещё одной струёй.

Он входил медленно, до конца, останавливаясь на каждом сантиметре — так, как пересчитывают здание перед покупкой. Вода стекала по моему позвоночнику, по ложбинке между лопаток, и каждый его толчок отдавался во мне тёплой волной. Я откинула голову ему на плечо, подставляя шею, и он понял без слов: его зубы нашли место под мочкой уха — слабую точку, которую он вычислил ещё в первую ночь, как вычисляют уязвимость в системе.

— Дыши, — сказал он, и голос его был хриплым, будто им долго не пользовались.

Я дышала. Ритм нарастал: вода, тело, вода. Его бёдра били в мои с глухим звуком, который кафель умножал надвое, — и это было неприлично, откровенно, слишком громко для самого тихого отеля города. И нам было плевать. Это и была свобода — не поза, а громкость.

Его рука скользнула с талии вниз, по изгибу бедра, и поднялась по внутренней стороне — медленно, как растягивают удовольствие, зная, что за него платят временем, а не деньгами. Я застонала громче — и услышала свой стон, отражённый от плитки: он вернулся ко мне чужим голосом, будто кто-то стонал за меня, лучше меня.

— Слышишь? — прошептал он мне в ухо. — Кабина повторяет за тобой. Мне нравится этот хор.

Потом он развернул меня к себе — одним движением, за талию, без просьб. Я взлетела: его руки под мои бёдра, моя спина в холодный кафель. Контраст обжёг — горячая вода сверху, ледяная плитка между лопаток, его жар внутри. Я вскрикнула: первый жёсткий толчок выбил из меня крик, который эхо вернуло нам троекратно, как аплодисменты.

— Ещё, — сказала я, потому что теперь могла говорить. — Сильнее.

И он дал. Он взял меня стоя, прижав к стене, — глубоко, жёстко, с тем темпом, который в первую ночь выстраивал по моему дыханию, а теперь строил по собственному желанию, потому что моё дыхание давно уже согласилось. Мои ногти шли по его спине от лопаток к пояснице, оставляя дорожки, которые вода не могла смыть, — и он стонал в ответ открыто, в голос, как не стонал никогда: человек, с которого впервые за жизнь снимают броню, а не надевают её.

Я держалась за его плечи, за затылок, за мокрые волосы — за всё, за что можно держаться. Ноги сжимали его поясницу, пятки толкали его глубже, и каждый его удар отзывался во мне от самой глубины — низко, тягуче, на той грани, за которой заканчиваются слова и начинается звук. Мой голос сорвался на высокой ноте и повис в паре.

Он замедлился — нарочно, жестоко, до едва ощутимого движения.

— Скажи, — прошептал он мне в губы. — Скажи, чего ты хочешь.

— Тебя. Так, как сейчас. Не останавливаясь.

Он улыбнулся — впервые за ночь по-настоящему — и вошёл так, как я просила: на всю длину, без пощады и без пауз. Мой стон перешёл в крик, эхо подхватило его, и кабина запела нами — во все стены, в пар, в воду.

— Открой глаза, — сказал он.

Я открыла. И увидела его лицо под водой и паром: без функции, без расчёта, без отчёта за третий квартал. Человек, который владеет половиной города, смотрел на меня со страхом не потерять — с тем единственным страхом, который не купишь и не продашь. Это перестало быть ошибкой. Ошибки не стонут твоим именем.

— Скажи, чья ты, — потребовал он. Не попросил — потребовал, и в голосе его дрожало то, за что он сам себя ненавидел бы при свете дня.

— Твоя, — сказала я.

Слово, которое я не собиралась произносить никогда — ни ему, ни кому-либо на свете. Оно вышло из меня само — с выдохом, с толчком, который переломил меня изнутри.

Кульминация пришла обвалом, а не волной. Я крикнула — в полный голос, без единого укрытия, потому что укрытий больше не было, — и эхо вернуло мой крик трижды. Он кончил следом, с рычанием, которое больше не пытался глушить: его лоб упёрся в мой лоб, его руки сжали мои бёдры так, что утром на них снова вспыхнут четыре следа. Якоря на утро. Печати на ночь, которая больше не была ошибкой.

Мы стояли под водой, пока вода не начала остывать. Дышали. Кафель молчал — даже эхо выдохлось. Потом он взял с полки шампунь, вылил на ладонь и начал мыть мне волосы. Молча. Аккуратно — как человек, который впервые в жизни делает что-то, за что не платят и за что не платят ему.

Я закрыла глаза и позволила.

У меня защипало в глазах — и я списала это на шампунь. Хотя шампунь ни при чём.

Слов за эту ночь стало больше, чем за пять лет до неё, — и все они прозвучали в воде, под шум, который пересказал каждый стон дважды. Когда я вышла из кабины и начала застёгивать блузку, он спросил — глядя, как дрожат мои пальцы на пуговице:

— Когда?

— Не по расписанию. Прочитай пункт четыре.

— Я помню его наизусть.

— Значит, правила работают.

Уходя, я оглянулась на него через порог его собственной комнаты — впервые в жизни он находился в пространстве, которое не контролировал, и это пугало его настолько, насколько это должно пугать того, кто считает, что слабость — потеря контроля.

Он проиграл партию, в которую не ставил ставок. И улыбнулся потолку — потому что за пять лет впервые хотел проиграть ещё раз.

* * *

То, о чём не знали ни я, ни он, занимало три коротких строки.

Через два дня после сбоя служба безопасности виллы восстановила журнал замков. Строка была одна и говорила всё: «в ноль часов сорок одну минуту двенадцатый номер гостевого корпуса открыт картой двенадцатого номера западного флигеля. Причина: сбой системы. Других карт: нет».

Для Дэмиана Кросса вопрос был закрыт. Сбой. Его карта. Его ночь.

Он не знал, что человек, который умеет читать логи, прочтёт эту строку иначе.

* * *

Андреас Келер запросил тот же журнал в тот же день — не через виллу, а через администратора системы, который был его клиентом уже семь лет. Лог не показал ничего нового — и показал всё.

В ноль сорок одну минуту дверь двенадцатого номера гостевого корпуса открыла карта люкса западного флигеля. Люкса, который Дэмиан Кросс снял для невесты, с которой спал по расчёту, по слову, по подписи.

Андреас посмотрел на строку, потом в окно — на город, который он знал как схему доступа. У него был ровно один вопрос, который он не имел права задавать, и один ответ, который он не имел права хранить.

Он хранил.

Правило «никаких имён после полуночи» годами работало на него — теперь оно работало против него: он знал имя и не мог его произнести. Оставалось то, что делает консультант по безопасности, когда видит дыру в заборе: послать предупреждение. Но прежде — карта. Его юрист сделал вежливый запрос в бюро находок виллы, вежливый, как всё, что делал Андреас. Ответ пришёл короткий: карту нашли в кают-компании и сдали по форме; накануне её забрали по доверенности с бланком медиаимперии Альтов.

Андреас перечитал строку дважды. Кто-то в мире Альтов теперь держал ключ от двери, за которой спала его женщина, — и не знал, чья это дверь. Это не было пустотой. Это было минное поле.

В одиннадцать вечера телефон Рейн дрогнул один раз:

«Проверь замки. Иногда карты находят не те люди. А.»

Я перечитала сообщение трижды. Ни имени, ни объяснения — и ровно один адресат, который знал, что искать. Люди его профессии не пишут поэзии. Значит, поэзия была заботой.

Я поменяла коды допуска, отправила в кадровый отдел две бумаги и только потом позволила себе подумать о том, что проверила первой: между мной и миром, о котором я не знала, ещё не лежало ни одной бумаги: договор Нина дописывала. Договор — это забор. Но любой забор держится столбами, а столбы у этого — люди.

И один из столбов уже держал ключ.

* * *

Камилла Альт сидела в машине на набережной и смотрела в тонкую папку, которую передал ей человек, отвечающий за бюро находок виллы. Такому человеку не задают вопросов о том, зачем папка нужна — за такие вопросы в её мире платят.

В папке лежала карта-ключ. Обычная, без надписи, только бирка: «Гостевой корпус. Двенадцатый номер».

Она подняла карту на свет. Бирка была честной. Номер — тоже. У гостевого корпуса не было гостей с таким вкусом к тайне — только персонал, который переселяли из служебного крыла, и та самая «М. Верес», которую служба персонала закрывала, как закрывают вентиляционное окно: бумагой и верой в лучшее.

Камилла не знала, что значит эта карта. Она знала другое — то, что в её мире знали все: в ночь перед объявлением помолвки её жених не пришёл. А между ноль ноль три и три сорок на вилле существовала дыра, в которой не работало ничего, кроме людей.

Убрать карту она не успела сразу: пальцы дрогнули — не от страха, от ярости, впервые за годы не нашедшей вежливой формы. Она посмотрела на собственную дрожь так, как смотрят на поломку в чужом механизме: не на своей руке.

Она убрала карту в сумочку — так убирают то, что ещё не оружие, но уже станет.

— Узнай всё, что есть, — сказала она секретарю в телефон. — Кто ночевал в двенадцатом.

Машина тронулась. Война за двенадцатый номер начиналась с ключа, который никто не считал оружием.

Конец второй главы.

Глава третья. Яхта. Игра в молчание

Договор пролежал в моём сейфе десять дней — от подписи в его кабинете до вечера на яхте. Десять смен: мониторы, кофе, остывающий на столе, чужие жизни, которые я держала на ладонях и возвращала обратно. Я не писала. Он не писал — по условиям договора связь принадлежала тому, кому нужнее. Мы нуждались одинаково и одинаково держались правил.

А потом пришло приглашение — не мне. Сети.

Фонд Альтов устраивал закрытый благотворительный вечер на яхте: двенадцать пар, три обязательства, ноль прессы. На таких вечерах алкоголь льётся рекой, а сердца гостей старше сорока говорят с инфарктами на языке, который понимает не каждый сомелье. Сеть «Меридиан» страховала вечера фонда годами: на борту всегда дежурил специалист реанимационного профиля — формально, со ставкой и договором. Человек, который в идеале должен просидеть всю ночь в каюте и не понадобиться никому.

Координатор сети листал графики и остановился на моём имени. Объяснил: «Вы дежурили на конгрессе, где были Альты, — вы единственная из смены, кто знает их протокол». Система, которая умела всё, не умела одного — замечать иронию. Она выдавала меня тому миру сама. Спокойно, по процедуре, с печатью.

— На яхту? — Нина подняла глаза от бумаг. — К той воде, на которой всё случилось?

— К воде, на которой я работаю.

— Рейн, это не совпадение. Это приманка. Там будет Кросс. Там будет она.

— Там буду и я. Официально. С бейджем и страховым полисом.

— И первое же их слово будет «Верес».

— Моё имя стоит в списке сопровождения. С печатью сети. Прятаться — значит дать им право искать. Выйти — значит напомнить, что я имею право находиться.

— Ты опаснее, чем тебе кажется.

— Я знаю. Именно поэтому меня и выбирают.

Нина смотрела на меня, как смотрят на рентгеновский снимок, который не хотят показывать пациенту. Потом кивнула — быстро, словно боялась передумать:

— Тогда правило одно. На борту ты — сотрудник. С сотрудником разговаривают о датах рождения и прививках. Всё остальное — мимо тебя.

* * *

Приглашение фонда лежало на его столе третьего дня. Строка «медицинское сопровождение — сеть «Меридиан»» была набрана тем же шрифтом, что и всё остальное: фонды не выделяют таких слов курсивом.

Начальник службы безопасности вошёл с привычным вопросом:

— Проверить состав?

— Нет.

— Сэр, на борту будет сопровождение…

— Я прочитал приглашение.

— Имя специалиста запросить?

— Нет.

Пауза длилась дольше, чем дозволено подчинённому.

— Я хочу увидеть её, когда она войдёт, — сказал Дэмиан. — Всё.

Начальник вышел, не поняв ни слова. Дэмиан остался один с редким, почти физическим ощущением: вся его жизнь была выстроена так, чтобы узнавать всё первым. Досье, отчёты, прогнозы, исходы — он знал события раньше, чем они успевали случиться. Неведение было единственной роскошью, которую он не мог себе позволить двадцать лет.

В вечер благотворительного приёма он разрешил себе не знать. Впервые за двадцать лет он сделал выбор, который не был записан ни в одном документе.

* * *

Камилла получила папку за неделю до вечера — из рук человека, отвечавшего на яхте за всё, что происходит после полуночи: от бюро находок до наказаний.

В папке был журнал замков, купленный за сумму, которая смеётся над номиналом; выписка с виллы; кадр утренней камеры — женщина в форме у гостевого корпуса, шесть пятьдесят два; и фиктивная Верес, распадавшаяся на бумаге быстрее, чем успевала существовать.

— Я не ревную, — сказала она себе, закрывая папку. Это была правда. Ревность — эмоция, а эмоции она отдала карьере в обмен на хронометраж. — Я веду аудит.

Аудит требует источника внутри. Она нашла его быстрее, чем планировала: человек, который в сети «Меридиан» отвечал за архивы, согласился сотрудничать за то, чего не купишь, — за то, чтобы его перестали бояться. Его имя не появлялось в её телефоне. Его имя не существовало. В этом был весь смысл хорошей утечки.

* * *

Вечер начался в семь. Яхта Альтов стояла на внутреннем рейде — белая, длинная, дорогая настолько, что деньги на её борту выглядели скромно, как половички.

Ашфорда на борту не было — и это было единственное совпадение с моим планом на вечер. — Закрытые благотворительные вечера не его жанр, — сказала Нина, когда я спросила. — Он платит за столы, а не сидит за ними.

Протокол для сопровождения был прост: прибыть за два часа, проверить укладку, кислородную станцию, дефибриллятор, список аллергий гостей. Я сделала всё это за сорок минут — и следующие сто двадцать провела так, как учили в реанимации: быть в комнате и не быть.

Гости поднимались на верхнюю палубу с бокалами, и каждый бокал на такой высоте делал с людьми то, что турбулентность делает с самолётами. Адибек Альт произносил тост, который рассказывал на всех вечерах подряд, и смеялся первым — дресс-код не меняется от смены декораций.

В восемь сорок они спустились к нам: он — в тёмном костюме, который не нуждался в блеске: у денег его размера блеск — реклама, а реклама была не нужна; она — в белом, с бриллиантом в ухе размером с чужую ипотеку.

Камилла Альт улыбнулась мне улыбкой, которая начиналась с правого угла губ и останавливалась на полпути:

— Как приятно. Медицинское сопровождение. Надеюсь, сегодня вы не понадобитесь никому.

— Надеюсь так же, — ответила я.

Дэмиан Кросс сделал полшага навстречу раньше, чем Адибек успел представить нас: «Знакомьтесь — врач, который спасёт нас всех». Я протянула руку по протоколу, с бейджем «С. Рейн» на лацкане.

Рукопожатие длилось на четверть секунды дольше протокола. Четверть секунды — целая ночь, уложенная в ладонь.

— Вы знакомы? — спросила Камилла. В её голосе не было ни вопроса, ни интереса — только хронометраж.

— Мы не знакомы, — сказал Дэмиан.

Он произнёс это ровно, глядя мимо меня, — и впервые в жизни сказал вслух человеку, чьё имя держал в ящике стола вместе с договором, что этого человека он не знает. Ложь такого веса не ломает голос. Ложь такого веса меняет хозяина.

Больше он не подошёл. Ни разу за вечер — и это было самое громкое высказывание в зале. Я разливала воду, проверяла укладку, и каждый раз, когда наши взгляды встречались в

зеркалах за бутылками, я слышала слово «незнакомы» — так произносят то, что врут впервые и уже не в последний раз.

* * *

Андреас Келер нашёл меня у кормы, где чайки делили огни порта на доли.

— Мисс Верес? — сказал он тихо. — Нет. Всё-таки мисс Рейн.

— Господин Келер.

— Карта от двенадцатого номера нашлась, — сказал он, глядя на воду. — Не в бюро находок. У людей Альтов.

Я не изменила в лице. Профессия.

— Это значит, что у вас друзья везде, а у меня — проблемы.

— Это значит, что кто-то внутри «Меридиана» продаёт информацию. И продаёт её дешевле, чем ты думаешь, — он повернулся ко мне. — Если кто-то задаст тебе вопрос о той ночи — запомни: вопрос уже оплачен.

— Откуда вы знаете про ту ночь?

— Я не знаю про ту ночь. Я знаю про все ночи. Это называется — дружить с правильными людьми.

— Зачем вы мне это говорите?

Он посмотрел на меня так, как смотрят на человека, которого вписали в список задолго до того, как он стал нужен.

— Потому что однажды я выбрал тебя в список охраняемых. Не проси объяснить — я не умею объяснять выбор.

Он ушёл к гостям, и я осталась с ветром, который пах тем же кедром и дымкой.

Пункт первый протокола — «звони мне первым» — перестал быть строкой в договоре. Он стал расписанием.

* * *

Каюту для сопровождения отвели на нижней палубе, четвёртый номер: койка, иллюминатор, медицинский чемодан, который в идеале должен был остаться закрытым.

Сигнал я дала в половине второго — лампу с тумбочки на подоконник. Правило ночи было старым, как сама ночь: одна лампа — да. Две — нет.

Он пришёл в два пятьдесят — после того, как шаги Камиллы затихли в её люксе, после того, как вахтенный прошёл по верхней палубе третий раз. Вахтенный ходил по палубе каждые четыре минуты, шаг в шаг, — и в этом была своя геометрия безопасности: четыре минуты — окно, в которое можно было быть живыми.

Правило шёпота он понял без слов. Я приложила ладонь к его губам — не как запрет, как конституцию. Говорить разрешалось только в кожу: губами прямо к уху, шёпотом, который слушала не каюта, а один человек.

Каюта была меньше его пентхауса в десять раз, и звук жил в ней на расстоянии вытянутой руки. Первый гром этой ночи я услышала за бортом: вода несла корабль так бережно, будто знала, что происходит внутри.

Он вошёл в меня медленно — как входят в чужой дом, спрашивая разрешения каждой деталью. Я лежала под его весом, и вес был частью договора: он держал себя на локтях, не давая телу лечь, — та самая дисциплина, которой он управлял компаниями. Мой стон не имел права быть громким — он жил в выдохе: длинном, дрожащем, рваном на границе между вдохом и тем, что нельзя было назвать словом. Я упиралась пятками в его поясницу и чувствовала, как с каждым медленным движением напрягаются его бёдра, как ходят под кожей мышцы спины — и как бьётся его сердце там, где я никогда не думала его услышать: у меня под рёбрами.

Он держал темп по звуку: каждый раз, когда мой выдох срывался громче шёпота, он замирал — и ждал, пока вахтенный пройдёт. Потом продолжал — глубже, медленнее. Койка вела свой счёт: тихий скрип на каждый толчок, и он научился двигаться так, чтобы скрип

оставался внутри себя. Я никогда не думала, что человека можно обучить тишине. Его обучили деньги, доски и камеры. Я обучила его за одну ночь — и за четыре минуты такта.

Потом он накрыл мне глаза ладонью. Не приказ — жест, который мы выучили во вторую ночь; на третью он перенёс его без спроса. Мир выключился. Осталось только тело — его и моё, — и звук, которому теперь некуда было деваться: я стонала в его запястье, и он чувствовал каждое наше движение собственным пульсом.

Без зрения всё обострилось до боли. Я читала его губами: ключицы, шрам над левой грудью, пульс на шее, который сбивался, когда я опускалась до конца. Его стоны застревали между зубами — глухие, короткие, — и каждый звучал как маленькая капитуляция, которую он больше не пытался скрывать.

И тогда в коридоре зазвучали каблуки.

Камилла.

Он не вышел из меня — двигаться было некуда и не для чего. Он снял с моих глаз ладонь, и я увидела его лицо: спокойное, как у человека, подписывающего контракт. Только сердце под моими пальцами билось как у беглеца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.